

3. Бауман

СПОР О ПОСТМОДЕРНИЗМЕ*

Бауман Зигмунт — профессор университета Лидс (Англия).

* Перевод с польского кандидата философских наук А.Д. КОВАЛЕВА

Когда я был студентом социологии, меня учили, что все, чем человек живет, о чем мыслит и мечтает, можно и нужно измерять, и что знание о человеке тем глубже и основательнее, чем больше цифр после запятой мы сможем поставить. На все были свои меры и шкалы, а если на что-то шкалы не существовало, то это что-то не считалось достойным научного внимания. Помню, одна из шкал экспериментально измеряла степень консерватизма и радикализма. Эксперимент был достаточно простым: изготавливалось двадцать рисунков, из которых первый изображал пса, последний кота, а на остальных пёс постепенно, но все явственнее утрачивал собачьи черты и превращался в кота. Рисунки один за другим показывали испытуемому, отмечая, как долго он упорствует, что видит пса, на каком рисунке начинает колебаться, на каком соглашается, что это, наверное, кот...

Тот давний эксперимент невольно приходит на ум, когда я в очередной раз читаю, что, мол, времена, в которые мы живем, еще "современные" (модерновые), не совсем современные, или уже совершенно "послесовременные" (постмодерновые). Каждое такое высказывание признает, что с нашей современностью не все в порядке, что-то в ней переменялось, что-то ушло, а что-то пришло — но на этом согласие кончается и начинается спор. Ю.Хабермас говорит, что хотя реалии человеческого бытия действительно не такие, как прежде, но задачи, ими порождаемые, не изменились и нет оснований от них отказываться. Тот проект, который делал наш мир современным и давал ему право на это название, не доведен до конца. Э.Гидденс рисует одну из самых ярких картин мира до основания преображенного, совершенно непохожего на то, что было полвека назад, но нарисованное именуется портретом "поздней современности". Похоже поступает У.Бек, разве что иначе называя свое описание портретом "рефлексивной современности"... И т.д. и т.п.

Следовательно, это вопрос типа: еще пёс или уже кот? Современный или полусовременный мир, в котором мы сегодня живем? Признаюсь, я не в состоянии раздуть в себе хоть искру интереса к данному вопросу и настолько воспламениться, чтобы встать под то или другое знамя, вступить в борьбу и ломать копыта из-за названий. Думаю, одно из многих отличий нового мира, которое согласится признать все спорщики, независимо от цвета своего знамени, в том именно и выражается, что ныне все труднее увлечься схватками, кои, дабы они имели какой-то смысл, требуют мира, упорядоченного в спаянное и сплоченное целое (вроде того, что в моей молодости называли "системой"). Думаю, силы, которых надолго не хватит и которых никогда не бывает слишком много, лучше потратить на то, чтобы описать этот наш мир как можно вернее и понять происходящее в нем. Заботу о том, какой биркой снабдить готовое изображение, охотно предоставляю другим.

Вместе с тем я полагаю, что в упомянутом споре о названиях речь идет о чем-то более важном и вдохновляющем, нежели расприхивание авторов по углам с обозначениями "консерваторы" либо "радикалы", именно о том, как подходить к созданию картины мира, как браться за его описание, чего в этом мире искать, о чем его вопрошать. На вопрос "почему спорят об эпохе постмодернизма?"¹ я ответил бы вопреки собственной выгоде и в ущерб логической последовательности: потому что на то имеются важные поводы. Ставки в этой словесной игре весомые,

¹ "Постмодернизм" следует, конечно, понимать не как течение в искусстве, а как некую наступившую "постсовременность". Последнее слово было бы буквальным, но не принятым у нас переводом польского термина "ponowoczesnos".

хотя по всей видимости, игроки препираются не о них. На карту поставлен капитал, накопленный старыми и почтенными фирмами под марками философии, социологии или других гуманитарных наук, в которых все гуманитарии невольно заинтересованы — одновременно — как наемные работники и акционеры. Ставка — это сегодняшняя потребительная и меновая стоимость товаров, собранных за долгие годы, это выученные наизусть привычные фирменные уставы и статуты, в пользовании которыми многие поднаторели и стали мастерами. На кону также спокойствие духа, приятная уверенность в собственном авторитете и полезности, чувство осмысленности своей деятельности, питаемое просто фактом хорошего владения ее статутами и регламентами, вызывающими ми уважение уже своей давностью и тем, что так много людей научилось принимать их как очевидности.

Вот, как мне кажется, главное, о чем идет речь в споре о постмодернизме. На протяжении последних двух столетий стратегии философии, социологии, а может быть, и всей гуманистики формировались в своеобразном симбиозе с моделью мира, в котором они обитали. Стратегии служили обдумыванию модели, модель же постепенно вырисовывалась и крепла в ходе такой рефлексии... Трудно сказать, кто здесь был ткачом и что было тканью, но ткацкий станок и приемы ткачества идеально подходили как к сорту пряжи, так и к узорам, которые желали выткать. Стратегия была скроена по модели, а модель по стратегии. И именно этот уютный симбиоз, эта успокоительная взаимная приспособленность стоят сегодня под знаком вопроса. Отсюда тревога, волнение, озлобление и потому почти всеобщая задиристость и склочность. Ведь грозит ни больше ни меньше, как пересмотр крепко укоренившихся и, казалось бы, раз и навсегда проверенных навыков мышления — а такая ревизия разума неизбежно будет болезненной.

С огромным упрощением (но таким, что позволяет обнажить суть дела) можно сказать, что современная гуманистика моделировала мир в первую очередь как объект администрирования. Это был мир, обозреваемый с высоты стола генерального директора. Это был мир, в котором ставились и реализовывались цели, а общую цель расщепляли на подпроблемы для исполнения, мир, в котором сегодняшнее состояние оценивалось по тому, приближается оно или отдаляется от запланированного на завтра, и в котором главным условием достижения целей (и уже поставленных и еще непридуманных) была сплоченность рядов исполнителей. Она достигалась благодаря всеобщей лояльности по отношению к задачам, выдвигаемым начальством, и вере в право начальства ставить их, а также благодаря желанию избежать кары за непослушание, либо личной заинтересованности каждого в общих целях и в образе жизни, зависящем от достижения этих целей. Со столь же сильным упрощением можно сказать, что хотя наша жизнь и дальше будет состоять из устройства дел и разрешения проблем, сегодня нет начальственных кабинетов, где могли бы родиться планы, обязательные для всех исполнителей и разрешителей — планы, во имя которых можно требовать от каждого послушания и согласованности действий. Да и начальников (реальных или существующих лишь в собственном воображении), настолько нахальных и самоуверенных, чтобы выдержать тяжесть таких замыслов, теперь не хватает. Нам, умудренным нажитым в наше время опытом, все труднее поверить в то, что прежде такие начальники и кабинеты действительно были. Но легко убедиться, что люди верили в их существование и что мыслили о мире и моделировали его так, как если бы это существование было неопровержимым фактом.

Из того, что мир рассматривается в административной перспективе, что на него проецируется способ бытия и мышления "администрации", вытекают три следствия.

Во-первых, моделируемый мир целостен, а это значит, что он содержит все существенное для продолжения своего бытия. Говоря точнее, всё, чего он не содержит, несущественно и может не приниматься в расчет. Для социологии такой целостностью было общество, открыто либо молчаливо отождествляемое последние сто лет с национальным государством — самым большим из миров, наделенных авторитетом для постановки задач и способных к успешной координации усилий, которые требуются для их реализации. И была культура, также чаще всего понимаемая как культура совокупности, управляемой полностью либо частично суверенной властью, — культура как широчайшее собрание верований и навыков поведения, делающих возможной координацию усилий. Практика и притязания современного государства послужили инкубатором, в котором вызрела идея этих целостностей. Однако с момента готовности прототипа

можно было оттискивать один и тот же штамп на каждом фрагменте изучаемой действительности и потому ставить вопрос о согласовании функций, которое делает совокупность целостностью, и согласовании ценностей и норм, позволяющих удерживать целостность в целости. Гений Толкотта Парсонса и тайна его захватывающей дух карьеры не только в том, что в своем структурном функционализме он как никто до него систематизировал упомянутые стратегические предпосылки, но и в том, что ему удалось представить всю историю современной социологии как процесс неумолимо ведущий в направлении такой систематизации.

Во-вторых, рассматриваемый мир есть целостность сплоченная, слаженная по образу и подобию механизма. Иначе говоря, если не действительным состоянием, то хотя бы идеалом этого мира являются отсутствие внутренних противоречий либо умение их устранять; отсутствие многозначности либо наличие ясных предписаний, как добиваться однозначных ситуаций и воззрений; всеобщее согласие на принципы, полагаемые необходимыми для Дальнейшего существования целостности, либо способность обезвреживать те из них, которые отвергают согласие; взаимосогласованность занятий, выпавших в удел разным элементам целого, либо способность сглаживать Шероховатости. Этот мир мог функционировать постольку, поскольку каждая составная часть, каждый винтик и зубчатое колесико точно подгонялись по доставшемуся месту и исполняемой в системе роли. Отсюда — центральное положение, отведенное в модели социального мира процессам социализации, т.е. возбуждения в членах общества желания делать то, что должно делать для сплоченного целого; созидания общего согласия (консенсуса), или приучения всех к мысли, что надлежит верить в то, во что верят другие, и что общность верований благотворна и полезна для всех и каждого; а также внимание к таким явлениям, как "отклонение от нормы", "девиация" и "нонконформизм" — этим палкам в механизме самовоспроизводства общественных отношений, и к способам их устранения или изменения.

В-третьих, мир — это проект-в-процессе-реализации, т.е. проект, который существует во времени кумулятивном и целенаправленном — ведь только в таком времени и мыслимы проектирование и проекты. Кумулятивность времени означает, что происходящее в нем не исчезает, оно остается, набирает вес и, ограничивая множество возможных событий, влияет на то, что только еще должно случиться; другими словами, события, случившиеся в таком времени, "реальны" в том смысле, что заранее ограничивают то, что еще не произошло. В таком времени можно поступать последовательно и логично: планировать, разбивать план на этапы, строить великое по мелочам. Можно также смотреть на то, что произошло или происходит, как на ступеньку лестницы, ведущей на пока еще не достигнутый этаж; или как на рабочую репетицию, уступающую премьере в совершенстве; или как на увертюру, мелодические темы и потенции которой полностью раскроются и заблестят только в ариях и хорах целой оперы. Уже свершившееся — лишь смутное предвестие, бледное подобие того, что наступит. Повторим, время, в которое вписывался мир "современного" типа, направленное и финалистское. Направленность означает, что в этом мире онтологические различия между прошлым и будущим остры и недвусмысленны: модальность прошлого — полная достоверность и необходимость, модальность будущего — вероятность и свобода; сообщение и с прошлым и с будущим монологично, однонаправленно, но направления для каждого прямо противоположны. Финализм означает, что время устремлено к некоей целевой точке ("концу истории", моменту, за которым время уже не будет последовательностью разнокачественных состояний). Следовательно, это не просто время, в котором возможно проектирование, но время, которое само по себе есть уже проект, ведущий к чему-то иному, нежели существующее в данный момент, — и только затем, чтобы прийти до состояния, которое пребудет, наконец, самим собой неизменно. Поэтому есть особое "современное" время, благоприятное не только для проектирования, но и для фантома совершенства, или такого состояния (как это раз и навсегда для современной эпохи определил Леон Баттиста Альберти), к которому нечего добавить и от которого невозможно ничего отнять без ущерба, ибо всякое изменение может быть только изменением к худшему.

Итак, постольку и поскольку мир людей был предметом административных забот и хлопот, целью миротворческих усилий и областью законодательных установлений, его образ организовывали категории целостности, сплоченности, а

также кумулятивного и направленного времени. Похоже, именно это подразумевают, когда, оглядываясь назад, говорят сегодня о современности как о "проекте". Конечно, совсем не очевидно, что занятая ежедневными хлопотами и борьбой с текущими напастями "современность" думала о себе точно так же; но здесь важно то, что современность была единственной цивилизацией, о которой можно осмысленно говорить как о "проекте". Это возможно потому, что, как подытоживал Жан-Франсуа Лиотар, современная жизнь протекала в постоянном напряжении между местничеством, немотивированностью, непроницаемостью состояния в настоящем, с одной стороны, и универсальностью, определенностью и прозрачностью будущего состояния, которое должно было наступить, подготавливаемое каждым мгновением настоящего, — с другой. Ибо каждое конкретное "сегодня" черпало свое обоснование из универсального "завтра". Потому и виделось оно убогим и недоделанным и было переполнено надеждами на совершенство и полноту осуществления. Пока "сегодня" существовало ради будущего, не было места *experimentum crucis*, который раз и навсегда доказал бы тщету этих надежд. Более того, превратно, но весьма успешно неизбежный приход добродетелей будущего доказывался пороками настоящего.

Пожалуй, самая глубокая и богатая последствиями отличительная черта времени, в котором нам выпало жить, в том и состоит, что оно не только не думает, но и не способно думать о себе как о "проекте". Для наших дней наиболее характерна внезапная популярность множественного числа — частота, с которой теперь в этом числе появляются существительные, некогда выступавшие только в единственном... Сегодня мы живем проектами, а не Проектом. Проектирование и усилия для их исполнения подверглись приватизации, дерегуляции и фрагментации. Как и раньше, мы заняты решением проблем и устройством дел, но ни эти наши занятия, предпринятые в одиночку или коллективно, ни сами дела и проблемы не складываются во что-то целое. Самое же важное, что среди них нет "проблемы проблем", метапроблемы, "проблемы как покончить с проблемами", как устроить дела человеческие раз и навсегда. Уж не думаем ли мы, что "завтра" будет полностью отличаться от "сегодня": если все чаще слышим речи о "конце истории", то это лишь значит, что люди не ожидают от будущего чего-то абсолютно иного по сравнению с настоящим. Постмодернизм и есть в сущности закат проекта — такого Суперпроекта, который не признает множественного числа.

Как дошло до такого? На то много причин, и к ответу на этот вопрос можно подходить с разных сторон.

Во-первых, всеобщность, универсальность проекта требует власти с универсальными претензиями. Такой власти пока что-то не видно. Эрозия и ослабление государственной власти, когда-то увлекшейся миротворческой миссией, углубляются изо дня в день. Меры для установления и поддержания искусственного порядка, опирающегося на законодательство и государственную монополию на средства принуждения, лояльность обывателей и нормирование их поведения, ныне не кажутся такими первоочередными и обязательными, как в начальной фазе процесса "осовременивания" (модернизации), когда надо было заполнить нормативную пустоту после распада местных общин, ломки механизмов соседского контроля и осмеяния традиций. Регулярность человеческих поступков, сохранение и воспроизводство рутины совместной жизни превосходно обходятся сегодня без мелочного вмешательства государства. С насущными нуждами, которые некогда требовали трудоемкого обеспечения общего согласия с помощью устрашения попеременно с идеологической индоктринацией, теперь справляется рынок, который ничего так не боится, как единообразия склонностей, вкусов и верований. Вместо нормативного регулирования поведения обывателя — соблазнение потребителя; вместо насаждения идеологии — реклама; вместо легитимации власти — пресс-центры и пресс-бюро. Кому в этих условиях достанет ума на проект проектов? Кто достаточно силен, чтобы поднять такой проект? Да и зачем бы этот некто стал его поднимать?

Кроме того, прошло время, когда Запад, колыбель современности, мог, на манер Колумба, вступающего на землю открытого им континента, трактовать остальную мир как пустую, практически незаселенную, во всяком случае экономически неосвоенную территорию, как нулевую точку отсчета в истории Разума и область "абсолютного начала" всего. По словам французского философа Сьорана (Cioran): "нации Запада не испытывали в мире, наполненном их успехами, трудностей с подведением итогов истории и приписыванием ей смысла и целесообразности.

История была их собственностью, они были ее уполномоченными, так что история просто не могла не двигаться в разумном направлении..." Мир, не оказывающий сопротивления, мог и должен был восприниматься как бесконечно пластичный, податливость же материала всегда будит фантазию и подстрекает творческую смелость ваятеля. Но сегодняшний мир сопротивляется, история уже не собственность западных наций и, следовательно, нет оснований для суждений, будто она идет в правильном, благоразумном направлении, но есть предпосылка для утверждений, что та история, в которой современная цивилизация чувствовала себя в своей стихии, по сути пришла к концу...

Во-вторых, все мы на собственном опыте имели множество поводов, чтобы утратить уважение к проектам совершенного общества. Полякам выпало, вероятно, даже больше чем другим возможностей близко познакомиться с двумя наиболее амбициозными воплощениями такой проектантской мании: тысячелетним Рейхом и райским садом коммунизма. Мы знаем теперь по результатам посмертного вскрытия, к чему приводит Проект проектов, если сломать общественные тормоза и поддержать его всей мощью государственной машины. Знаем, как живется в обществе-саду с государством в роли садовника, решающего, каким растениям в нем есть место, а какие портят вид, какие полезны, а какие подлежат прополке. Безусловно, нам не нравилось то, что мы видели, но еще смутно, пока многие, очень, очень многие западные интеллектуалы, ослепленные блеском садоводческих амбиций, о которых у самих себя они могли только мечтать, не разглядели пятна на солнце. Неудивительно, что, больно обжегшись на молоке, мы дуем и на воду, с подозрением глядим на планы райских садов, отворачиваемся со смесью отвращения и страха от самозванных социальных инженеров и ищем, куда бы скрыться, услышав клич "дайте мне власть, и я вас устрою!". Не то или другое конкретное государство потеряло авторитет, но государство как таковое, власть как таковая, а главное — потерял силу любимый призыв всякого государства с инженерными претензиями: терпеть сегодня во имя счастливого будущего.

И еще: сомневаясь вместе с Адорно, можно ли заниматься поэзией после Аушвица, мы мучаемся также вопросом, можно ли после Аушвица, ГУЛага и Хиросимы и дальше сочинять хвалебные гимны в честь цивилизации и ее верных оруженосцев — науки и техники; принесет ли наука, измыслившая Циклон-Б и атомную бомбу, неминуемое конечное освобождение; вправду ли гуманизируют людей гуманитарные науки, вся гуманистика; и можно ли поверить, что локомотивы, которые везли осужденных до Трешлинка и на Колыму, доvezут нас, не осужденных или пока не осужденных, до совершенного общества. Отрезвленные, грубо выброшенные из сладкого сна, протираем глаза и убеждаемся, что живем во времена не столько прогресса, сколько риска...

В-третьих, современную цивилизацию одолели внутренние противоречия, с которыми она родилась и от которых не могла избавиться. Мы приучились думать (а думать так можно было только тогда, когда на культуру смотрели глазами администраторов стремясь придать людям и вещам форму, в которую они согласно культурному замыслу, покорно укладывались бы), что современная культура скроена по мерке современного общества, служила ему и прокладывала ему дорогу в истории. При этом не обращали внимания на то, что культура служит обществу особым образом: зорким наблюдением за его деяниями, нестесненной критикой, неустанными придирами, соблюдением дистанции и иронией. Культура действует одновременно как священнослужитель и шут, как трубадур и пересмешник; ее никогда не удастся полностью приручить и склонить на одну сторону, обуздать ее непокорный оппозиционный дух, и, что важнее всего — только в таком качестве она и может поддерживать в рабочем состоянии движущие колеса современности ... Современность нуждалась в культуре борющейся, недоверчивой, обьявившей иллюзиям, заблуждениям, бесплодным фантазиям, самообманам, умышленной лжи и окаменелым истинам, войну не на жизнь, а на смерть — словом, в культуре как бы от рождения скептической, неудовлетворенной и гневной. По существу, современная культура была (и не могла не быть) культурой сомнения, критики и сопротивления. Свой оптимизм относительно будущего она подпитывала пессимизмом в отношении настоящего. Если она выражала энтузиазм по поводу намерения, то обязательно осуждала и порицала его очередные практические воплощения. Предметом критики оказывались все очередные свершения современной цивилизации — ни одно не выдерживало испытания культурой. Вопреки надеждам и обещаниям, ни одно из них не делало наш мир регулярным,

прозрачно-постижимым, удобным для рационального мышления, свободным от многозначности. Каждая очередная попытка классификации создавала ничейные области, каждая категоризация умножала запасы двусмысленностей, каждый новый дорожный указатель открывал новые перспективы бездорожья. Было только вопросом времени, чтобы дух сомнения и критической отваги, заботливо воспитанный "современностью", обратился против руки, которая его вскормила. На каком-то этапе "количество перешло в качество", к этому добавилось что-то вроде "кризиса парадигмы" по Т. Куну, накопилось такое множество разочарований и аномалий, что уже нельзя было отделяться от них указанием на ошибки в вычислениях или на попадание в жизненное варево посторонних ингредиентов. Критика результатов перешла в критику намерений. Теперь ищут ошибки не в том, что сделано, а в основаниях, принципах, во имя которых это делалось.

Парадоксально (но в свете сказанного уж и не так удивительно), что постмодернистская критика проектных намерений современности есть последний триумф "современного" духа. Последняя преграда, стоявшая перед критическими умами, единственная еще неприкосновенная святыня, каким было будущее Царство Разума, рухнула под напором истребителей иллюзий. Под обстрел орудий, придуманных для сокрушения иллюзий, попали ныне иллюзии, ради которых создавались сами орудия ...

Отсюда вовсе не следует как нечто очевидное, что философы, социологи и вообще гуманитарии должны выбросить инструментарий, который они унаследовали и которым работали. Естественная внутренняя синхронизация между образом действительности и личностными побуждениями и действиями сама является одной из современных иллюзий. Обычно мы любим делать то, что хорошо умеем. Томас Кун подробно описал оборонительные механизмы, к которым прибегают ученые, чтобы отстоять смысл того, что они умеют и, следовательно, любят делать. Приняв во внимание саморазвивающийся механизм ("институционализацию") воспроизводства науки и обучения, а также то, что люди науки отвоевали себе право признавать партнерами в диалоге только других людей науки и презрительно не считаться с прочими мнениями, придется допустить возможность и большую вероятность того, что своими алгоритмическими претензиями *scientiae* и дальше будут забивать эвристическую скромность *phronesis*², что стратегии будут жить дольше целей, для которых их разработали, а оболочки понятий переживут их содержание. Не является "исторической необходимостью", чтобы философы перестали удовлетворяться изготовлением очередных примечаний к Платону; социологи перестали моделировать равновесие и функционально согласованные системы, а также отождествлять значимость явлений с их статистической частотой; культурологи же — искать окончательные, истинные и однозначные смыслы. Нет причин для того, чтобы *business* гуманистики не продолжался, по английскому выражению, *as usual*.

А раз так, то стоит внимательно присмотреться к инструментарию, оставленному нам той эпохой на ее спаде. Стоит оценить пригодность инструментов и виды деятельности, для которых они были предназначены, и вообще заново поставить вопрос, каким должно быть знание, чтобы занять действительно важное место и сыграть полезную роль в жизни людей, и что надо делать профессиональным производителям знания, дабы обеспечить ему то место и ту роль. Ведь гуманистика — это вторичная герменевтика, переработка значений (смыслов), приданных раньше, толкование явлений, уже насыщенных интерпретацией, — словом, это рефлексия о жизни, которая сама существует благодаря рефлексии. Если гуманистика хочет участвовать в такой жизни и участвовать с пользой, она должна оставаться в диалоге именно с этой сферой бытия.

Признаюсь, для меня не до конца ясно, что следует из нового содержания диалога. Быть может, лишь то, что новая действительность требует новых стратегий и инструментов? А может быть, кое-что побольше, может, постмодернистские откровения заставляют заново переписывать историю современной гуманистики, на этот раз как историю ошибок и искажений (между прочим, такая тенденция усматривается в работах Ричарда Рорти: решительно отказываясь определить место собственных размышлений в истории, он волей-

² *Phronesis* (древнегреч.) — рассудительность (житейская) — Прим. пер.

неволей создает впечатление, будто если бы мадам Декарт вместо Рене родила Ричарда, история европейской философии пошла бы совершенно иным путем ...) или, другими словами, категории современной гуманистики изначально были неким недоразумением и только затемняли то, что обещали разъяснить? Оставим решение этого вопроса историкам и истории. Но чего нельзя, как я полагаю, оставлять другим — так это раздумий о способах культивирования философии или социологии, в диалоге с теперешним *Lebenswelt*, который мы делим с прочими обитателями нашего послесовременного мира.

Главное сегодня — не столько отказ от некоторых центральных для современной социологии категорий (это самое легкое), сколько освобождение от навыков мышления, связанных с использованием этих категорий. Речь идет главным образом о видении действительности человеческого общежития не как объекта административного воздействия, нормативного регулирования и функциональной координации, но как области самопроизвольных и слабо скоординированных процессов; а также об избавлении от такой трактовки теории, согласно которой она должна заранее определять то, что могут определить только человеческие действия. Другими словами, речь о том, чтобы трактовать весь мир человека в каждом его моменте как совокупность, связку шансов, явно еще недоопределившихся и никогда до конца недетерминированных (даже и позднее, когда один из шансов берет верх над конкурентами и торопливо наряжается в одежды необходимости). Это уже звучит как нерядовая задача, но в практике социологического мышления она еще труднее, чем может показаться на первый взгляд.

Многое вытекает из упомянутой центральной задачи и в первую очередь — прекращение поисков сплоченных целостностей типа "общества", определенного Парсонсом как "сфера принципиальной координации". Ныне мы созреваем для принятия интуиции Георга Зиммеля, полагавшего, что моментальный снимок, называемый обществом, является лишь моментом движения, процесса, именуемого обобществлением, который в равной мере составляют взаимопонимание и сотрудничество вместе с антагонизмом и борьбой, совместимость значений наряду с их столкновением, взаимное согласование усилий и одновременно взаимные помехи. Теперь нас вдохновляют наблюдения Альфреда Шюца за миром повседневности, "миром в ладони", служащие точкой отсчета для макросоциальных процессов, так и для их понятийных типологизаций; соображения Харольда Гарфинкеля о ситуативном, "ad hoc" характере нормативного поведения, Ханса Гадамера о процессуальном, торгово-переговорном характере любых значений, или Норберта Элиаса о динамической "фигурации" различных сцеплений и зависимостей как единственной "первичной реальности", открывающейся Домогательствам социолога. Пора перестать искать и мнимо связные, будто бы системные псевдоцелостности типа "культуры", которую сегодня мы склонны рассматривать как поле творчества и коммуникации, производства и чтения знаков, непрерывных и никогда не повторяющихся процессов их преобразований, самоопределения и трансцендирования. Культура — это поле, где все мы авторы и актеры и где из нашего авторства-актерства возникают в общем (по Луману — "автопоетическом") потоке действий пригожинские "вихревые структуры" только для того, чтобы обменяться материалом с другими структурами, которые рождаются через мгновение; это поле, где будущность, подобно вихреобразным порядкам, всегда локальна и улавливает текущие начинания лишь в сети кантовских "эстетических общин" — этих всегда лишь постулированных, идеальных общностей, членств и тождеств.

Следует также подвергнуть основательной ревизии понятие системы, или способа, при помощи которого разнородные элементы людского множества, будь то различные элементы действий, элементы жизненного процесса, различные понятия или регулятивные представления вступают в связь и взаимодействие. Надо признать, что "системность" системы не сводится к взаимному уравниванию и приспособлению элементов, к воспроизводству образцов этого уравнивания и успешному подавлению отклонений от образцов, но складывается на манер калейдоскопических узоров из игры взаимных напряжений, противоречий и амбивалентностей, переговоров и торгов, пониманий и непониманий, так что недоопределенность и многозначность общающихся элементов — не проявление какой-то болезни, патологии системы, а условие ее жизнеспособности. В такой системе предвидеть будущие состояния не удастся: самое большее, можно

рассматривать текущие состояния как пучки возможностей, из которых ни об одной нельзя сказать, что она реализуется по "необходимости". Каждая конstellация элементов придает смысл и оправдание некоторым из "авторско-актерских" стратегий, делая другие менее "рациональными" и менее вероятными.

Придется также вновь открыть, казалось бы, закрытый вопрос о качественной весомости социальных событий и фактов, измеряемой традиционной социологией с помощью таких характеристик, как частота появления, распространенность, среднестатистическая оценка, "нормальность". Статистика не схватывает размаха возможностей и беспомощна в отношении динамики их саморазвития и столкновения. Не существует корреляции между измеримой чертой явления и потенциальной мощностью содержащихся в нем возможностей, и единственными достоверными весами для оценки его значения оказывается будущее (а отсюда следует, что истинный вес явления — его "правда" — не доступен измерениям в момент взвешивания). Все крупные, действительно существенные перемены в нашем столетии произошли неожиданно, ни одной из них нельзя было предвидеть и дедуцировать заранее из статистических трендов — последней в этом горестно убедилась советология, наиболее щедро финансируемая и обеспеченная исследовательскими средствами дисциплина наших, а может быть, и всех времен ...

Из вышеизложенных рассуждений вытекает, что насколько "проект, послесовременности", постмодернистский проект, является чем-то вроде *contradictio in adjecto*, настолько же проект философии или социологии, скроенных по мерке послесовременных условий, оказывается задачей и реалистической и неотложной.

Если теперь спросить о роли, которую в послесовременном мире придется играть гуманистике, избавленной от легитимизационно-интеграционной функции (либо, что одно и то же, освобожденной от должности великого везира или придворного поэта при мирозозидающей власти), то напрашивается следующий ответ:

Призвание философов и социологов — в оглашении, выговаривании умолчаний, в том, чтобы выявить неочевидное, уловить то, что выскальзывает из рук, либо до чего руки не доходят или чего не хотят трогать. Их задача — не позволять душить в зародыше ни одной возможности, которые таит в себе неистребимая человеческая свобода, дабы жизненные шансы для людей не появлялись на свет мертворожденными, и не произносили речей на похоронах этих шансов циничные насмешники и пассивные свидетели их уничтожения — вооруженные до зубов умственной диалектикой надзиратели и златоустые жрецы исторической, социальной, культурной и какой там еще необходимости. На долю философов и социологов выпало разоблачать ложь обещаний успокоительной уверенности и навсегда устроенного порядка, которыми заманивают в тоталитарные ямы миражом освобождения от груза проблем; высмеивать чванство продавцов единственного патентованного смысла, похваляющихся так, будто они побывали во дворце абсолютной истины и вкусили со стола конечной мудрости; отсеивать здоровые зерна самопознания (которое всегда должно оставаться знанием о том, что человеком можно быть на разный лад и множеством способов) от плевел тоталитарного мечтания о всеобщем согласии во имя единой и неделимой правды или ценности; бить тревогу, а не усыплять; но при этом укрощать страсти, вместо того, чтобы их подстрекать; и как удачно написал недавно Тадэуш Школут: рушить всякие "священные истины", разоблачать их репрессивный характер и тем минимизировать несправедливость по отношению к тем, кто отказывается участвовать в "языковой игре", навязанной господствующим большинством.

Сказанное не дает, как легко заметить, алгоритмических рецептов безошибочного и не знающего сомнений философствования и социологизирования, самое большее — содержит некоторые эвристические советы, которыми надо бы руководствоваться в выборе пути нам, философам и социологам эпохи, обрекающей жить на перепутье. Эти советы не обещают легкой жизни, но отнимают у нас — людей слабых, смертных и не свободных от ошибок — успокаивающую нервы потеху, будто мы вещаем от лица вечной и сверхчеловеческой правды-истины, неколебимого закона истории или никогда не заблуждающегося разума. Они лишают нас уверенности в себе, вытекавшей из убеждения, что правильность наших утверждений предрешена на небесах еще прежде, чем мы открыли рот или взяли за перо, что этот приговор обжалованию не подлежит и только от нас самих зависит, чтобы его текст — если не сегодня, то

завтра — прочитать. Они отнимают у нас также облегчающую совесть веру, будто те, молчание которых мы озвучиваем, сказали бы то же, что и мы, если бы умели говорить или им позволили бы. И уж чего совсем нет в наших советах, так это указаний, как поставить на победителя. Или проще: тем, кто хочет ставить на победителя, наши соображения бесполезны.

Из этих эвристических поучений вырисовываются очертания философии и социологии, которые не в состоянии многое предложить обладателям и искателям власти, но зато многое могут дать людям, находящимся вольно или невольно в процессе самоопределения и творения самих себя. Эти обновленные дисциплины не соблазняют обещаниями мудрости, которая устранил, наконец, неуверенность и неопределенность; но учат, как мудро жить в условиях неопределенности. И в какой-то, пусть очень скромной, мере они помогают увидеть настоящую необходимость солидарности в общности судьбы всех людей, обреченных на случайность существования и знающих об этом приговоре.